

МИГЕЛЬ ДЕ  
УНАМУНО



Туман



МОСКВА

◆ ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА ◆



МИГЕЛЬ ДЕ  
УНАМУНО



Туман



МОСКВА

УДК 821.134.2-31  
ББК 84(4Исп)-44  
У58

Miguel de Unamuno

NIEBLA



Школа перевода  
В. Баканова

Перевод с испанского *Марианны Смирновой*

Оформление серии *Натальи Ярусовой*

**Унамуно, Мигель, де.**

У58 Туман / Мигель де Унамуно ; [перевод с испанского М. Смирновой]. — Москва : Эксмо, 2025. — 288 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-221777-7

Мигель де Унамуно — испанский классик и философ. В противовес роману он изобрел жанр «нивола» (или «раман»), изменив литературные правила игры. Унамуно в «Тумане» делает читателя соавтором и позволяет выбрать один из двух вариантов концовки.

Аугусто, герой романа, подозревает, что он всего лишь плод фантазии автора, что его жизнь подчинена чужой воле. Свет глаз хорошенькой пианистки вызывает героя из густого тумана обыденности и отвлекает от этих мыслей. Все его силы брошены на то, чтобы понравиться своенравной девушке и отбить ее у жениха. Однако возлюбленная начинает играть чувствами Аугусто. В отчаянье он решает свести счеты с жизнью, но сперва приезжает к своему создателю домой и узнает, что тот собирается его убить...

УДК 821.134.2-31  
ББК 84(4Исп)-44

© Смирнова М., перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

ISBN 978-5-04-221777-7

## ПРОЛОГ

Дон Мигель де Унамуно настоятельно просит меня написать пролог к этой его книге, повествующей о печальной жизни и таинственной смерти моего доброго друга, Аугусто Переса. Я не могу отказать ему в этом, так как пожелания сеньора Унамуно для меня закон в ближайшем смысле слова. Я не дошел до крайней, гамлетовской степени сомнения, как мой приятель Перес, усомнившийся даже в собственном существовании, но не верю, что у меня есть свободная воля, как это называют психологи. Утешением мне служит то, что и дон Мигель ею не обладает.

Читателям не стоит удивляться, что пролог к книге дона Мигеля, давно снискавшего заслуженную славу на литературном поприще, пишет человек, ничем не отметившийся в испанской литературе, хотя обычно бывает наоборот: в предисловии более известный писатель представляет менее известного собрата. Дело в том, что мы

с доном Мигелем решили положить конец этой вредной традиции и сделать все наоборот. У нас неизвестный представляет известного. Книги ведь покупают не ради предисловий, будем честны. И поэтому логично, что молодой, начинающий и амбициозный писатель вроде меня попросил у мастера разрешение написать пролог к одной из его книг вместо того, чтобы клянуть у того предисловие к собственной. К слову, так решается конфликт отцов и детей в одной из своих ипостасей.

Кроме того, у нас с доном Мигелем много общего. В этой книге, как бы она ни называлась — роман или раман (на стр. 147 обоснованы мои авторские права на этот термин), сеньор Унамуно излагает суть моих бесед со злосчастным Аугусто Пересом и рассказывает о рождении Викторсито, моего запоздалого сына. К тому же мы с доном Мигелем, вероятно, приходимся друг другу дальними родственниками — моя фамилия встречается в его роду, как показывают генеалогические исследования моего наиученейшего друга Антолина С. Папарригопулоса, широко известного в академических кругах.

Я не возьмусь предсказывать, как примут читатели раман дона Мигеля и как отнесутся к самому автору. Я достаточно давно наблюдаю,

как дон Мигель сражается с наивностью нашего общества. Признаться, глубина этой простодушной наивности меня поражает. В качестве отклика на публикации в «Мундо графике» и т. п. дон Мигель получал письма и вырезки из провинциальных газет, и это открыло ему глаза на неисчерпаемые запасы доверчивой наивности и святой простоты нашего народа. Одни возмущаются якобы непочтительной фразой сеньора Унамуно в адрес Сервантеса, что, дескать, его тезка был далеко не бездарен. Других трогают меланхолические размышления сеньора Унамуно над палыми листьями — или внезапно восхищает лозунг «Войне — войну!», который дон Мигель с горечью произнес при виде людей, которые гибнут, хотя никто не убивает никого. Иные повторяют набор подслушанных доном Мигелем в разных кафе и клубах пошлых истин не первой свежести, радостно взяв их на вооружение. Одну простушку даже возмутило, что дон Мигель пишет слово «культура» с большой буквы и через «К», и к тому же сознается в неумении сочинять комплименты и жонглировать словами, хотя хвастается, будто способен увлечь читателя. Ведь в глазах простой публики увлекательность в таких фокусах и состоит.

Следует порадоваться, что некоторые шалости дона Мигеля, судя по всему, прошли мимо этих наивных читателей. Бывало, к примеру, что он писал эффектную статью и наобум подчеркивал отдельные слова, а потом еще путал страницы, чтобы самому забыть, что и где подчеркнул. Когда он признался мне в этом, я спросил, для чего он так поступает. Ответ был: «Да откуда же мне знать?.. От избытка веселья! Озорства ради! К тому же, у меня в печенках уже сидят все эти курсивы и подчеркивания. Для читателя они — сущее оскорбление. Это вроде вывески: не пропусти, болван, тут умная мысль! Одному сеньору я порекомендовал писать статьи сплошным курсивом, чтобы публика оценила глубину его идей от первого до последнего слова! Курсивы и иже с ними — это всего лишь писательская пантомима, визуально компенсирующая то, что интонация и композиция выразить не смогли. Обрати внимание, дорогой Виктор: в газетах у крайне правых, так называемых консерваторов, везде курсив, разрядка, прописные буквы, восклицательные знаки — весь типографский арсенал. Пантомима, пантомима, пантомима! Настолько примитивны их выразительные средства. А точнее, настолько хорошо они понимают своих наивных,

простоватых читателей. С этой простотой надо бы покончить».

Как-то раз дон Мигель объяснил мне, что настоящий живой юмор в Испании не прижился и вряд ли приживется когда-нибудь. С точки зрения дон Мигеля те, кого в Испании считают юмористами, на самом деле практикуют иронию и сатиру либо просто балагурят. Например, назвать юмористом Табоаду было бы преувеличением. А в едкой, но понятной и прозрачной сатире Кеведо проглядывает не юмор, а проповедь. Нашим единственным юмористом был Сервантес. Случись старику воскреснуть в наши дни, говорил мне дон Мигель, ох как бы он посмеялся над теми, кого возмутило, что я посмел назвать его одаренным, как посмеялся бы он над глупцами, которые приняли за чистую монету его тонкие насмешки! Ведь нет ни малейших сомнений, что он шутил, причем всерьез, когда пародировал стилистику рыцарских романов. Иные простецы считают примером его личного стиля обороты вроде «едва румяный Феб», а ведь это всего лишь острая карикатура на барокко с его пышностью. Не стоит и говорить о попытках записать в пословицы выражение «зари уж настал», открывающее главу, притом что предыдущая закончилась на слове «час».

Наша публика подозрительна, как водится, в силу своего бескультурья. Впрочем, таков весь народ. В Испании люди не любят, когда из них делают дураков, морочат голову и пытаются обвести вокруг пальца. Заводя беседу с человеком, нужно сразу дать ему понять, всерьез или в шутку пойдет речь. Вряд ли есть другой народ, у которого смесь шутки с правдой вызывала бы такую раздраженную реакцию. Гадать, не издеваются ли над тобой... это не для испанцев! А уж как трудно объяснить подозрительному испанцу из среднего класса, как можно об одном и том же предмете говорить одновременно в шутку и всерьез, с пиететом и с насмешкой!

Дону Мигелю близок образ трагического клоуна, и он много раз говорил мне, что хотел бы успеть в этой жизни написать трагедию-буфф, в которой трагическое и абсурдное не чередовались бы, а были слиты воедино. Я обвинил его в оголтелом романтизме, и дон Мигель ответил на это: «Соглашусь, но ярлыки ничего нам не говорят на деле. Я двадцать лет преподаю классиков, но классицизмом, враждебным романтизму, так и не проникся. Древние греки занимались различением, определением и разграничением явлений, как говорят. А я вот, наоборот, смешиваю их и запутываю».

Я усматриваю в этих словах идею или даже мировосприятие, которое назвал бы пессимистическим, если бы не знал, как это словцо раздражает дона Мигеля. Не дает ему покоя навязчивая, едва ли не маниакальная мысль: если его душа, так же, как души остальных людей и прочих божьих тварей, не бессмертна в том смысле, в каком понимали бессмертие простодушные средневековые католики, то ничего не стоит усилий. Так же Леопарди ощутил отвращение к жизни после того, как рухнула надежда на жизнь вечную, самая драгоценная его иллюзия: «*ch'io eterno mi credea...*» или «я верил в свое бессмертие...». И по той же самой причине любимые авторы дона Мигеля — Сенанкур, Кентал и Леопарди.

Но этот сложносоставной юмор, острый и суровый, возбуждает подозрения в наших испанцах, которым надо знать намерения собеседника. Многих он просто раздражает. Испанцы любят посмеяться, но только чтобы развлечься или чтобы еда лучше улеглась после обеда, а вовсе не затем, чтобы вытошнить то вредное, что проглотили зря, и уж точно — не затем, чтобы переварить неприятности.

Дон Мигель же смешит людей не для того, чтобы сокращения диафрагмы способствовали

пищеварению, а именно чтобы люди освободились от всего съеденного, потому что смысл жизни и мира проясняется на пустой желудок, не отягощенный гурманскими излишествами. Дон Мигель не признает иронию, если та не ядовита, и умеренный юморок. Он говорит, где нет хоть капельки яда, там нет и иронии, а умеренность — враг юмора или, по его выражению, злобного юмора.

Эта убежденность побуждает дона Мигеля заниматься крайне неприятным, неблагодарным делом, которое он называет «массировать общественное простомыслие». Его интересует, оттачивает ли народ свой гений понемногу, или нет. Сеньору Унамуно очень не по вкусу разглагольствования о том, как талантлив наш народ, особенно на юге. «Люди, развлекающиеся корридой и находящие в таком первобытном зрелище удовольствие и разнообразие, интеллектуально безнадежны». Он прибавляет, что заядлый любитель корриды заостенел своим неразвитым умом. Ну какие юмористические парадоксы человеку, которого поверг в восторг удар шпаги Висенте Пастора! Дон Мигель не выносит шутовской стиль комментаторов корриды — жрецов, поклоняющихся каламбуру и прочей самодеятельности.

Добавим, что сам дон Мигель каламбурить обожают, но исключительно метафизическими идеями, — и станет ясно, отчего многим его книги внушают отвращение. У одних от этих его шуточек начинается мигрень, другие крепко затвердили правило: «sancta sancte tractanda sunt» — «о священном следует говорить священным языком», — и не опускаются до того, чтобы рассуждать о высоких материях с шуточками-прибаутками. Их дон Мигель спрашивает: коль наши духовные предтечи высмеивали самые святыя, читай, самые утешительные надежды и упования своих собратьев, то почему мы должны всерьез говорить обо всем остальном? Если даже над Богом посмеяться находились желающие, отчего же нам не позубоскалить над Разумом, Наукой и даже Истиной? Если нашу главную надежду у нас отобрали, то почему бы не перетасовать все истины, чтобы убить время, убить вечность и так отомстить за себя?

Легко могу допустить также, что некоторые читатели обнаружат в книге скабрёзности или, если угодно, порнографию. Об этом дон Мигель позаботился заранее, вложив (в тексте рамана) в мои уста пару слов по этому поводу. Отрицая подобные инсинуации, автор заявляет, что пикантные сцены в книге призваны отнюдь

не будить в людях плотские желания, а напротив, направить фантазию в противоположном направлении.

Тем, кто знаком с доном Мигелем, известно и его отвращение к порнографии всех сортов, причем не столько из соображений банальной нравственности, но и по твердой уверенности, что погруженность в вопросы секса верней всего убивает мысль. Он считает авторов порнографии, иначе эротики, наиболее туповатыми. Он не раз говорил мне, что из хрестоматийной тройки пороков — женщина, карты, вино — для разума губительней всего два первых, не последний. Сам дон Мигель не берет в рот ничего крепче воды. «С пьяным еще можно побеседовать, — сказал он мне однажды, — иной раз и пьяница изречет что-нибудь достойное внимания. Но кто же вынесет болтовню картежника или бабника? Невыносимей только чушь, которую мелют любители корриды, а это уже предел тупости человеческой».

Сочетание эротики и метафизики кажется мне, однако, вполне логичным, поскольку наши народы, судя по их литературе, начинали с воинственности и религиозности, а склонились затем к эротике и метафизике. В эпоху концептизма культ женщины соединился с культом изошрен-